

Женитьба Корбаля

Автор:

Рафаэль Сабатини

Женитьба Корбаля

Рафаэль Сабатини

Драматические события времен Великой французской революции не могли ускользнуть от внимания выдающегося мастера приключенческого жанра Рафаэля Сабатини. Романтик в душе, Сабатини умел быть драматичным без мелодраматизма и всегда оставаться реалистом в изображении прошлого, превзойдя в этом таких признанных грандов, как Вальтер Скотт, Дюма и Стивенсон. Он всегда подчеркивал, что писатель-историк обязан не только основательно изучить описываемый им период, но и постараться максимально прочувствовать нюансы происходившего. В романе «Женитьба Корбаля» на фоне волны революционного террора разворачивается бурная романтическая история, финал которой остается непредсказуемым вплоть до самой последней страницы.

Рафаэль Сабатини

Женитьба Корбаля

Роман

Rafael Sabatini

The Nuptials of Corbal

* * *

© А. Кузьменков

© Ю. Кузьменкова

Глава I

За крепкой решетчатой дверью, закрывавшей выход из длинной, узкой галереи, задвигались неясные тени, и среди несчастных обреченных людей, мужчин и женщин, многие из которых не один день томились здесь, в Консьержери[1 - Консьержери – одна из парижских тюрем, в которой во время Великой французской революции содержались аристократы и враги нового общественного порядка.], пробежал и тут же стих сдержанный шепот: все они уже знали, что за этим последует. В наступившей напряженной тишине пистолетным выстрелом щелкнул, открываясь, огромный замок, одна из внушительных створок дверей широко распахнулась, и на пороге появился смуглолицый и коротко стриженный надсмотрщик в маленькой меховой шапочке и в голубой рубашке, распахнутой на волосатой мускулистой груди; за ним по пятам следовала огромная собака песчано-желтой масти. На широкой каменной площадке, откуда начинались ступени вниз, он чуть отступил в сторону и замер, давая пройти юркому молодому человеку в черном, плотно облегающем скюртуке и черной круглой шляпе с кокардой на боку и с пряжкой спереди.

Более сотни пар глаз – испуганных, безразличных, горделиво-равнодушных и презрительно-насмешливых – устремились на него, но куда больше внимания привлекала бумага, которую он держал в руке. Дело в том, что проворный юноша, Роберт Вулф, был секретарем общественного обвинителя Фукье-Тенвилля[2 - Антуан Кантен Фукье-Тенвиль (1746–1795) – общественный обвинитель Революционного трибунала, отличавшейся особой жестокостью; гильотинирован после термидорианского переворота 1794 г.], ревностного слуги народа, и в этой бумаге содержался список имен, мужских и женских, над составлением которого Фукье-Тенвиль большую часть ночи неустанно трудился в маленькой комнатке во Дворце правосудия[3 - Дворец правосудия – общепринятое во Франции название здания суда; здесь речь идет о парижском Дворце правосудия, историко-художественном архитектурном ансамбле на

острове Сите.], забывая о сне и отдыхе, о своей семье и собственном здоровье.

Гражданин Вулф встал на краю площадки, так, чтобы свет падал на его бумагу, и приготовился огласить имена тех, кого Фукье-Тенвилль вызывал сегодня утром на заседание революционного трибунала или, как цинично называли эту процедуру арестанты, fournaise[4 - Fournaise (фр.) – пекло.].

Заняв свою позицию, секретарь, однако, решил подождать, пока трое неспешно вошедших вслед за ним мужчин – один впереди, двое в черном чуть сзади – не остановятся и звуки их шагов о каменные плиты не будут мешать ему.

Возглавлял эту троицу Шовиньер, депутат Конвента[5 - Конвент или Национальный Конвент – высшее законодательное учреждение революционной Франции (сентябрь 1792 г. – октябрь 1795 г.).] от департамента Ньевр, высокий худощавый человек, не более тридцати лет от роду, не лишенный элегантности и мужественного достоинства. На нем был перехваченный в талии трехцветным кушаком дорожный сюртук, фалды которого свисали почти до самых каблук его ботфортов, и штаны из оленьей кожи, настолько туго обтягивавшие его ноги, что, казалось, можно было различить каждый их мускул. Безупречно белый галстук был туго затянут под самым подбородком, а серая шляпа, которую он носил на манер Генриха IV, заломив набекрень, была украшена трехцветной кокардой и увенчана плюмажем из черных перьев. Если кто-либо из собравших здесь отовсюду аристократов и находил такой наряд чересчур вычурным, то это ничуть не беспокоило нашего господина, чье подчеркнутое санкюлотство[6 - Санкюлоты – наиболее активные революционные элементы городской бедноты.] служило надежным барьером против любых насмешек в адрес менее значимых деталей его одежды.

У него было болезненно-желтое лицо, высокомерное и самоуверенное выражение которого усиливалось презрительно искривленной складкой рта, нос с горбинкой и светлые глаза, пронизательно глядевшие из-под тонких черных бровей.

Во всем его облике ощущалась смесь благородства и вульгарности, в нем было что-то от джентльмена, а что-то – от слуги, по-волчьи жестокого и по-лисы хитрого.

Не обращая внимания ни на приготовившегося читать секретаря, ни на замершую в напряженном ожидании толпу, Шовиньер не спеша пересек площадку, и, выбрав наиболее удобное для обзора место, спустился на одну ступеньку вниз, чтобы не загораживать поле зрения своим спутникам в черном.

Он окинул цепким взглядом столпившихся в галерее людей, большинство из которых были одеты с таким тщанием, словно собирались на прием в королевском дворце – как это удавалось пленникам Консьержери, лишенным не только пудры и грима, но и почти всех косметических принадлежностей, оставалось загадкой для их тюремщиков.

Его глаза остановились на тонком стройном силуэте мадемуазель де Монсорбье, объекте его поисков, и алчно вспыхнули. Решительная и бесстрашная, она с озабоченным видом стояла возле кресла, в котором в бессильном изнеможении откинулась ее мать, но, когда она почувствовала пристальное внимание к себе со стороны Шовиньера, ее хорошенькое личико побледнело, зелено-голубые глаза дрогнули и испуганно расширились.

Шовиньер вполборота повернулся к своим спутникам в черном и что-то произнес вполголоса в подобострастно приклоненное ухо одного из них, а затем лениво указал концом своей тросточки с серебряным набалдашником – иного оружия у него при себе не было – на мадемуазель де Монсорбье. Три пары глаз одновременно уставились на девушку, и та оцепенела от недоброго предчувствия.

Указующая трость опустилась, возглавляемые Шовиньером люди в черном замерли на площадке, и Роберт Вулф принялся наконец зачитывать имена обреченных. Подобно самому Фукье-Тенвиллю, он ощущал себя всего лишь маленькой частичкой гигантской революционной машины, и неудивительно, что его голос – голос скромного судебного клерка, не несущего личной ответственности за происходящее, – звучал монотонно и беспристрастно. Он уже знал по опыту, что при чтении необходимо выдерживать небольшие паузы, чтобы каждое вновь произносимое имя не потерялось в шуме, поднимавшемся в галерее после предыдущего вызова; все реагировали по-разному: кто-то испуганно вскрикивал, – временами даже раздавались истеричные вопли, впрочем, весьма быстро переходившие в сдержанные рыдания, кто-то смеялся или же отвечал беззаботно-отважной репликой, иногда вокруг призываемого на суд несчастного возникало движение и суэта, иногда новое имя встречалось гробовым молчанием.

– Бывший маркиз де ла Туре, – возгласил секретарь.

Маркиз, стареющий щеголь в расшитом золотом голубом камзоле, вскинул красивую голову, с которой ему в тот же день предстояло расстаться, и негромко ахнул. Но в следующее мгновение, вспомнив, как подобает вести себя людям его происхождения и положения, он овладел собой, слегка пожал плечами, и на его побелевшем, как мел, лице появилась улыбка, которая замышлялась пренебрежительной, однако вышла скорее умоляюще-протестующей.

– Что ж, придется сменить заведенный распорядок, – негромко бросил он своему соседу, когда секретарь выкрикнул следующее имя.

– Бывшая графиня де Монсорбье.

Мадам де Монсорбье, маленькая, худенькая женщина пятидесяти с небольшим лет, полупривстала со своего кресла, и из ее груди вырвался нечленораздельный захлебывающийся крик. У нее подкосились ноги, и она рухнула бы в полуобмороке на пол, если бы дочь не успела поддержать ее и не усадила обратно в кресло. Мадемуазель де Монсорбье с состраданием обняла свою мать, но в то же время продолжала внимательно прислушиваться к голосу секретаря. Мадемуазель де Монсорбье знала: сейчас ей как никогда требуется помощь, и в порыве самоотречения она с нетерпением ожидала услышать свое имя, чтобы получить желанную возможность сопровождать ту, что родила и вырастила ее, на эшафот.

Однако мадемуазель де Монсорбье не оказалось среди двадцати обреченных, которые сегодня вызывались на суд революционного трибунала, и это привело ее в неопишное смятение. Словно сквозь сон, она услышала ровный, приятный голос маркиза де ла Туре, прощавшегося с герцогом де Шални:

– На сей раз право первенства принадлежит мне, месье.

– К моему бесконечному сожалению, – беспечно парировал его милость. – Крайне жаль, что мы лишаемся вашего приятного общества, дорогой маркиз. Впрочем, вряд ли наша разлука будет долгой, и я надеюсь вскоре увидеться с вами в раю. Кланяйтесь от меня Фукье-Тенвиллю.

Перед мадемуазель де Монсорбье будто из-под земли выросли два жандарма.

– Бывшая Монсорбье, – сказал один из них, схватив мадам за онемевшее плечо.

Мадемуазель де Монсорбье резко повернулась к нему, не в силах более сохранять самообладание и связно выразить терзавшие ее мысли.

– Это моя мать! Здесь какая-то ошибка. Я не могу отпустить ее одну. Вы же видите: ей плохо. Меня просто забыли вызвать. Это ошибка. Скажите им, что это ошибка. Позвольте мне пойти вместе с ней!

Один из жандармов бросил на нее угрюмый взгляд и с сомнением покачал головой.

– Это нас не касается, – сказал он и тронул графиню за плечо:

– Идемте, citoyenne[7 - Citoyenne (фр.) – гражданка.].

– А как же я? Можно я пойду с ней?

– Не положено, – проворчал жандарм.

Мадемуазель де Монсорбье в отчаянии заломила руки.

– Я все объясню трибуналу!

– Ба! Никак вы торопитесь чихнуть в корзинку? Ваш черед не за горами, citoyenne. Помоги-ка, Гастон.

Жандармы вдвоем подняли графиню на ноги и почти потащили ее к выходу. Девушка бросилась вслед за ними, беспрестанно повторяя:

– Можно мне с вами, можно мне... – от сильного удара локтем в живот у нее перехватило дыхание, она рухнула в то же деревянное кресло, которое только что занимала ее мать, да так и застыла в нем.

– О, черт! Нельзя же быть такой упрямой! Не путайся под ногами, красавица! – услышала она недовольный голос ударившего ее жандарма.

– Мама! – вырвалось у нее из груди, когда дыхание наконец вернулось к ней. – Мама! – машинально повторила она, настолько потрясенная обрушившимся на нее горем, что не могла даже плакать.

Месяц тому назад забрали ее отца, и она осталась единственной опорой и утешением для своей матери. Теперь пришла очередь матери, и мадемуазель де Монсорбье готова была упасть в обморок от одной мысли о том, что в этот страшный час ее милая матушка, такая беспомощная и слабая, осталась одна. Ей не суждено было вернуться – мадемуазель де Монсорбье знала это. Никто из тех, кого вызывали на суд революционного трибунала, не возвращался сюда, и почти никому из них не удалось избежать гильотины и обрести желанную свободу.

Почему ее оставили здесь? Почему не позволили сопровождать свою мать и до конца исполнить долг, ставший в эти ужасные дни единственным смыслом ее существования? Что теперь ожидает ее?

– Вот та самая молодая женщина, которая привлекла ваше внимание, граждане, – раздался возле ее кресла спокойный твердый голос, слегка ироничный и в то же время чем-то приятный. – Обратите внимание на ее позу, на ее неестественную бледность и отсутствующий взгляд. Впрочем, не мое дело указывать вам или строить догадки. Вам самим предстоит принимать решение; прошу вас, граждане, приступайте к своим обязанностям.

Словно попавшийся в ловушку зверь, она резко обернулась, и, когда ее глаза встретились со светлыми глазами Шовиньера, насмешливо-изучающе устремленными на нее, она, никогда и никого не боявшаяся в своей жизни, почувствовала, как ледяная рука страха сжала ее сердце. Не в первый раз за последние недели она замечала на себе этот оценивающе-одобрительный, словно обжигающий своим цинизмом взгляд. Дважды он заговаривал с ней во время визитов в галерею, единственная цель которых состояла как будто в том, чтобы сказать ей несколько слов, но всякий раз ей удавалось справиться с охватывавшим ее негодованием и отвечать ему с ледяным достоинством, подчеркивавшим разделявшую их пропасть. И теперь она ненавидела себя за столь недостойную ее, минутную слабость, преодолеть которую представлялось ей сейчас делом чести.

Люди в черном пристально смотрели на нее; затем один из них слегка наклонился к ней и взял ее запястье в свою пухлую руку.

– Ваш пульс, citoyenne.

– Мой пульс? – словно издалека услышала она свой собственный голос и почувствовала, как бешено стучит кровь у нее в висках, но в следующее мгновение, забыв о себе, воскликнула: – О, месье... гражданин, гражданин депутат! Мою мать только что увели, а меня оставили здесь. Это ошибка, чудовищная ошибка. Умоляю вас, месье, распорядитесь включить мое имя в список тех, кто подлежит сегодня суду...

– О-о! – с какой-то странной выразительностью ахнул Шовиньер и, взглянув на своих спутников в черном, многозначительно поднял брови. – Вы слышите, граждане доктора? Может ли так рассуждать молодая женщина, находящаяся в здравом уме и рассудке? Мыслимо ли мечтать – нет, я бы сказал, молить о смерти в таком возрасте, когда жизнь, подобно прекрасной розе, только раскрывается и обещает радость и счастье? Разве это не подтверждает мои подозрения? Но я не собираюсь навязывать вам свое мнение, – его глаза вновь насмешливо сверкнули. Вы должны сами поставить диагноз. Приступайте, приступайте!

Он сделал повелевающе-приглашающий жест рукой, аристократически длинной и узкой, и замолчал.

Эскулапы как по команде вздохнули.

– Мне совершенно не нравятся ее глаза, – проворчал один из докторов, низенький и толстенький. – Этот дикий, затравленный взгляд и выражение безумия на лице... Гм... гм!

– И такая неестественная бледность, как верно заметил гражданин депутат, – добавил его коллега. – А пульс! Убедитесь сами.

Мадемуазель де Монсорбье рассмеялась, резко и безрадостно.

– Неестественная бледность, вы говорите? Пульс, затравленный вид? А как я могу выглядеть, минуту назад проводив свою мать на эшафот, месье? Спокойной? Или, быть может, веселой? Моя мать...

– Ш-ш, дитя мое! – рука низенького доктора легла ей на лоб, его большой палец начал производить какие-то манипуляции с ее веками, а голос звучал мягко, почти гипнотически. – Не перевозбуждайте себя, *citoyenne*. Успокойтесь, прошу вас. Вот так, спокойнее, спокойнее. Зачем волноваться? Мы ваши друзья, *citoyenne*, друзья. Она, пожалуй, права, – обратился он уже к Шовиньеру. – Сильные переживания, трагический поворот событий, свидетельницей которых ей довелось оказаться, ее страдания... – доктор заметил нахмурившиеся брови Шовиньера, голос дрогнул и увял, и фраза осталась неоконченной.

– Ваше дело поставить диагноз, – обронил депутат ледяным тоном – словно упал холодный и безжалостный нож гильотины, почему-то подумалось низенькому доктору. – Не мне указывать вам. Но если вы все же считаете мои наблюдения заслуживающими доверия, то я попрошу вас вспомнить, почему я привел вас сюда и о чем я говорил вам ранее: мне уже приходилось замечать точно такие же черты в поведении этой гражданки в условиях, когда внешние раздражающие факторы практически отсутствовали.

– О, тогда это в корне меняет дело! – воскликнул маленький доктор, цепляясь за брошенную ему соломинку. – Если учащенный пульс, неестественная бледность, подрагивание рук, остановившийся взгляд и все прочие симптомы проявляются постоянно, то это может говорить только об одном. Как ваше мнение? – добавил он, вопросительно взглянув на коллегу.

– Я полностью согласен с вами, – категорично заявил тот. – Здесь все предельно ясно, и вывод напрашивается сам собой.

Губы Шовиньера чуть заметно дрогнули.

– Граждане доктора, для юриста лестно услышать, что его гипотезы подтверждаются людьми науки. Я попрошу вас дать свое заключение о психическом состоянии этой гражданки, чтобы общественный обвинитель разрешил перевести ее в госпиталь, скажем, в Аршевеше.

– Абсолютно справедливое решение, – сказал низенький доктор.

– И очень гуманное, – добавил его коллега.

– Вот именно, – сказал Шовиньер. – Ни гуманность, ни справедливость не разрешают привлекать эту несчастную к судебной ответственности, а революционный трибунал слишком серьезно относится к своим функциям, чтобы обвинять особу, которая хотя бы временно не способна защищать себя. Сегодня же направьте медицинское заключение общественному обвинителю и считайте, что ваши обязанности на этом исполнены. Не стану больше задерживать вас, граждане.

Высокомерно, словно старорежимный князь, он кивком головы отпустил докторов, и те раболепно склонились перед ним.

– О, подождите! – неожиданно вскричала мадемуазель де Монсорбье, вскакивая на ноги. – Месье, месье!

Но доктора, повинаясь повелительному жесту депутата, уже направились к выходу. Шовиньер не спеша повернулся к девушке и пристально посмотрел в ее бесстрашные глаза.

– Вы считаете, что я сошла с ума? – с вызовом спросила она.

Он отметил про себя ее мужество, оценил проницательность и интуицию, и она показалась ему еще более желанной. Она была слишком хрупкой и утонченной, чтобы привлекать внимание любителей грубых плотских наслаждений, и в ее гибком, стройном теле ощущался дух, который никогда не покорился бы пошлости и вульгарности. Шовиньер считал себя знатоком в таких вещах. До революции он, подобно многим из тех, кто сейчас находился у власти, был адвокатом-неудачником; но, по его собственному мнению, в душе он всегда оставался поэтом, эпикурейцем[8 - Эпикурец - зд. человек, видящий цель и смысл жизни в наслаждениях.] и знал, как быстро приедается телесная красота в отсутствии красоты внутренней.

И ее отважное поведение в эту минуту, презрительный взгляд и дерзкие слова подсказали ему, что он не ошибся в ней. Он слегка улыбнулся.

– Стоит ли оспаривать то, что спасет вас от гильотины? Впрочем, если вы продолжаете упорствовать в своем желании отправиться на эшафот, то вас с полным основанием можно назвать сумасшедшей.

– Месье, могу я хотя бы узнать, чем вызван ваш интерес к моей особе и такая забота о моей жизни?

Темные брови Шовиньера поползли вверх, и слабая, задумчивая улыбка появилась на его лице, придав ему почти доброжелательно-приятное выражение.

– Citoyenne, вы задаете слишком много вопросов; значительно больше, чем позволяют правила приличия.

Он приподнял шляпу с перьями, слегка поклонился и, гордо подняв голову, пошел прочь, будто не замечая расступавшихся перед ним аристократов и намеренно игнорируя как угрожающе-злые взгляды мужчин, так и оскорбительное поведение женщин, которые торопливо, словно боясь, что их осквернит случайное прикосновение, подбирали свои юбки, когда он проходил мимо.

Шовиньер был не из тех, кто, поставив перед собой цель, станет беспокоиться о мелочах.

Глава II

Гражданин депутат Шовиньер, представитель Неверского[9 - Невер – город на востоке Франции, на реке Луаре, центр департамента Ньевр, находится на территории бывшей провинции Ниверне.] избирательного округа в Конвенте, всегда отличался рвением в служении нации, и никто не удивился, когда он отправился с инспекцией в Аршевеше, бывший дворец архиепископа Парижского, превращенный теперь в тюремный госпиталь.

В сопровождении Базире, дежурного врача, он внимательно осмотрел палаты больницы и нашел их чудовищно переполненными, а общую атмосферу

заведения чрезвычайно вредной для здоровья.

– Это бесчеловечно, – насмерть перепугав доктора своей безапелляционностью, заявил он, когда они миновали очередной зловонный коридор. – Ведь вы имеете дело не со зверями, а с людьми; еще не будучи осуждены народом, они подвергаются у вас худшему наказанию, чем то, которого действительно заслуживают. Люди валяются на соломе, как свиньи, и некоторые из них умирают только из-за того, что вы набиваете по шестьдесят человек в палаты, где и тридцати было бы тесно. Это негуманно; даже тираны не опускались до такого варварства.

Дородный Базире задрожал всем телом.

– А как мне поступать, гражданин депутат? Ежедневно власти присылают мне все новых и новых больных из переполненных тюрем, а куда же я их дену? У меня нет иных помещений, кроме тех, что вы видели, и я не в состоянии пристроить новые крылья к Аршевеше.

– Но вам вполне по силам содержать в чистоте хотя бы то, что имеется в вашем распоряжении; и извольте не дерзить мне, я этого не переношу. Дерзость говорит о недалекости ума.

– Я? Как я могу дерзить вам? – заплетающимся от страха языком пробормотал доктор. – Гражданин депутат, позвольте заверить вас...

– Перестаньте! – повелительно оборвал доктора Шовиньер. – Еще меньше мне нравятся проявления подобоострастия. Время Капета[10 - Капет – речь идет о Людовике XVI, которого после низложения называли «гражданином Капетом». Свергнутая Великой французской революцией династия Бурбонов, является побочной ветвью династии Капетингов (987–1328).] кончилось; нет больше ни хозяев, ни слуг, люди стали свободны и равны, и те, кто хочет жить в грядущем веке Разума, когда все будут братьями, должны забыть о прежних привычках. Вы поняли?

– Конечно, гражданин депутат...

– Поздравляю вас, – процедил Шовиньер с высокомерием, которое не позволил бы себе и турецкий султан в разговоре со своими рабами. – Идемте же дальше.

Что находится у вас наверху?

– Наверху? Ах, наверху! – стушевался доктор, решивший было, что инспекция закончена. – Ничего достойного вашего внимания.

– Для усердного слуги народа не существует ничего, что было бы недостойно его внимания. Хорошенько запомните это, гражданин доктор.

Окончательно запуганный доктор молча поклонился. Поборник свободы и братства тем временем продолжал:

– Проводите меня туда, прошу вас. – Он указал рукой вверх. – Сегодня же вечером я сделаю в Конвенте доклад, в котором изложу все, что увидел здесь. Этому безобразию необходимо положить конец.

Лицо доктора посерело.

– Гражданин депутат, говоря по справедливости, нельзя обвинять меня... в этом безобразии. Я...

– Вы опять отнимаете у меня время, гражданин доктор, а мое время принадлежит Франции. Но я вижу, что вам необходимо объяснить некоторые прописные истины и напомнить, что царству лжи и обмана пришел конец вместе с ненавистным правлением тиранов. Вы можете не сомневаться в справедливости правосудия. В вашем поведении я не нашел ничего компрометирующего вас, – тут его интонация несколько смягчилась. – Вы были откровенны со мной; вы ничего не скрывали и не пытались помешать инспекции вверенного вам учреждения. Все это свидетельствует в вашу пользу. Продолжайте в том же духе, и вам не придется опасаться последствий моего доклада. Так что же вы прячете наверху?

Доктор наконец смог вздохнуть с облегчением.

– Прячу, гражданин депутат? – он позволил себе даже усмехнуться, отвечая Шовиньеру. – Что я могу прятать там?

– Об этом мне и хотелось бы узнать.

– Абсолютно ничего. Вы сейчас сами убедитесь, – отозвался доктор, поднимаясь вместе с депутатом вверх по лестнице. – На верхнем этаже находятся страдающие психическими расстройствами больные, которых мы вынуждены изолировать от основной массы пациентов. Не спорю, там следовало бы устроить дополнительные общие палаты и перевести туда часть больных снизу. Сумасшедшие занимают слишком много места, – пожаловался он.

– Я уже обратил на это внимание, – заметил Шовиньер. – Из-за них весь мир кажется тесным.

Они поднялись наверх, и Базире принялся отпирать одну за другой двери одиночных палат, все обстановка которых состояла из деревянного стола, деревянного стула и брошенного на пол в углу матраца с одеялом. В большинстве из них содержались неопрятные старики и пожилые, аристократического вида женщины, но их было так много и все они были так похожи друг на друга, что Шовиньеру эта демонстрация начала казаться бесконечной, и он с трудом удержался, чтобы не потребовать провести его прямо к той особе, ради которой и были предприняты все его хлопоты.

Наконец он увидел ее. Мадемуазель де Монсорбье сидела на стуле возле забранного решеткой окна; услышав звук щелкнувшего замка, она повернула голову к двери, и ее глаза слегка расширились от испуга, когда в одном из тех, кто появился на пороге ее палаты, она узнала Шовиньера. Она выглядела более бледной, чем обычно, черты ее лица несколько заострились, а в глазах появилось напряженное выражение, но в целом она мало изменилась за неделю, проведенную здесь после казни ее матери, и Шовиньер не мог не отметить, что выпавшие на ее долю переживания придали одухотворенность и какую-то особую выразительность всему ее облику.

– А это кто? – с холодной отстраненностью осведомился он.

Базире ответил, и Шовиньер уставился на нее, размышляя про себя, как сильно страдания очищают и возвышают дух человека.

– Ха! – сказал он наконец. – Да она совсем не похожа на сумасшедшую.

– Увы, так часто бывает! Внешний вид этих несчастных очень обманчив.

– А вы уверены, что не обманываетесь сами? – подозрительно посмотрев на Базире, сказал он. – Нетрудно представить себе обстоятельства, в которых вы были бы рады стать жертвой обмана.

Базире поежился.

– Что вы хотите этим сказать, гражданин?

– Вы прекрасно поняли меня. Эта девушка... – Шовиньер запнулся и, взявшись за подбородок, пристально посмотрел на нее. Затем, словно приняв решение, он сделал доктору знак удалиться.

– Я сам побеседую с ней, – сказал он. – Мой гражданский долг диктует мне не оставлять неисследованным ни один случаи, представляющийся мне сомнительным... – Он вновь запнулся. – Подождите меня в конце коридора. Я не люблю, когда меня подслушивают.

Доктор подобострастно поклонился, и Шовиньер проводил его взглядом, в котором читались презрение и насмешка. Затем он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.

– Комедия продолжается, – негромко произнес он, словно поверяя мадемуазель де Монсорбье свои намерения и приглашая ее в сообщники.

– Стоит ли ее играть, месье? – спокойным тоном спросила она, и ее реакция несколько удивила его.

– Я делаю это ради вас, citoyenne, – слегка наклонив голову, ответил он.

Тонкая и стройная, в муслиновом фишю[11 - Фишю – косынка, шейный платок.] и длинной серо-голубой полосатой юбке, она поднялась со своего стула и встала спиной к окну, так что ее лицо оказалось в тени и он не мог прочесть его выражения. Однако когда она заговорила, ее голос звучал твердо и решительно, и он подивился ее самообладанию.

– Надеюсь, это не комедия манер?

Он не уловил смысла заданного ему вопроса; такое случалось не часто, и он почувствовал, что его самолюбие слегка задето.

- При чем тут манеры, позвольте узнать?

- Вы кое-что забыли.

- Что же именно?

- Снять вашу шляпу, месье.

На мгновение он едва не задохнулся от удивления и затем разразился беззвучным хохотом.

- Врачи не ошиблись, поставив вам диагноз, citoyenne, - негромко сказал он. - Ваше место действительно в доме умалишенных.

Она отпрянула от него, и ее плечи коснулись холодных прутьев решетки.

- Какой ужас! Какой позор! Вам прекрасно известно, что я в здравом уме. Зачем вы затеяли?..

- Ш-ш! Тише, тише! - в неподдельном испуге воскликнул он, оглянулся на дверь и слегка склонил голову, словно прислушивался. - Вы погубите нас обоих, citoyenne.

Она рассмеялась над его страхами, но голос ее дрожал.

- В стране Свободы, в век Разума, одним из жрецов которого являетесь вы, женщина имеет право погубить себя, не объясняя причин своего поступка. А что касается лично вас, месье, то я не понимаю, почему ваша судьба должна беспокоить меня.

Он вздохнул.

– Я восхищаюсь вашей храбростью, citoyenne. Однако я начинаю опасаться, что у вас ее слишком много. – Он сделал пару шагов к ней. – Вы так молоды. Неужели вы успели лишиться всего того, что называют иллюзиями, и теперь считаете всех врагами? Даже если и так, вам трудно будет отрицать, что я ваш друг; пренебрегал опасностью, я пытаюсь вернуть вам свободу и жизнь, которая в вашем возрасте полна надежд и обещаний. Но если вы и дальше будете упорствовать в своем недоверии ко мне, тогда мне ничего не останется, как уйти и предоставить вас, citoyenne, своей собственной судьбе. Пытаться переубедить вас означает для меня рисковать своей жизнью – равно как и снимать перед вами шляпу при таких обстоятельствах, как сейчас, когда в любую минуту здесь могут появиться посторонние.

Иногда незначительный, но убедительный довод способен оказать решающее влияние на точку зрения собеседника. Так случилось и на этот раз. Получив от Шовиньера исчерпывающее объяснение насчет его шляпы, мадемуазель де Монсорбье задумалась, не поспешила ли она и с более серьезными выводами относительно его самого. Окинув взглядом его фигуру, она нашла, что он не лишен некоторого благородства и внутреннего достоинства, и это подействовало на нее успокаивающе.

– Почему вы решили послужить мне? – тихо спросила она.

Он улыбнулся, и мрачное выражение его лица на мгновение смягчилось.

– Вряд ли жил на свете мужчина, который никогда не испытывал желания служить одной-единственной женщине.

Трудно было не понять, что он имел в виду, и ее целомудрие возмутилось такой оскорбительной откровенностью. Ее лицо пошло багровыми пятнами, она сердито вскинула голову и нахмурилась.

– Вы забываетесь, месье, – сказала она таким тоном, словно отчитывала нахального слугу. – Ваша дерзость невыносима.

Если ее слова и задели его, он ничем не выдал этого, лишь его улыбка стала еще чуть более мягкой и грустной. Он всегда придерживался мнения, что тот, кто хочет завоевать женщину, сначала сам должен стать ее рабом.

– Вы считаете меня дерзким только из-за того, что я разговариваю с вами без обиняков? Разве я что-то прошу для себя лично, требую платы за свои услуги? Я хочу спасти вашу жизнь, citoyenne, потому, что... – он секунду помедлил и, словно объятый порывом самоунижения, с жаром продолжил: – Потому, что желание бескорыстно служить вам сильнее меня. Разве это называется дерзостью?

– Нет, месье. Это просто невероятно.

Его глаза обежали ее слегка по-мальчишески гибкую фигуру, невысокую грудь, сохранявшее невозмутимое спокойствие лицо и золотистый ореол волос, освещенных неяркими лучами мартовского солнца, проникавшими в палату сквозь зарешеченное окно.

– Да, это кажется невероятным, – наконец согласился он. – Мне часто приходилось слышать подобные высказывания о моих поступках: таков уж мой характер, что все невероятное сильнее всего притягивает меня. Пускай однажды это плохо кончится для меня – что ж, я умру с улыбкой на устах, зная, что до последнего вздоха оставался верен себе. Но мы попусту тратим время, citoyenne. – Не дожидаясь от нее ответа, он заговорил быстрее: – У вас еще будет время поразмышлять и решить, доверитесь вы мне и позвольте спасти вас, или же отправитесь отсюда напрямиком на гильотину. Я не стану принуждать вас делать выбор, но попрошу вас выслушать меня.

Он вкратце изложил ей свой план. Прежде всего он собирался добиться перевода всех душевнобольных из Аршевеше в дом умалишенных на улице дю Бак, бежать откуда не составит большого труда. Затем он должен будет по поручению Конвента отправиться с инспекцией в департамент Ньевр. Все документы, включая паспорт несуществующего секретаря, уже готовы, и она, если пожелает, может занять его место и, переодевшись в мужскую одежду, отправиться вместе с ним. Вполне вероятно, что завтра она уже будет на улице дю Бак и завтра же, когда он вновь навестит ее, она должна дать ему окончательный ответ. Он искренне надеется, что она сделает разумный выбор. Оказавшись в своей родной провинции, она, без сомнения, найдет себе убежище или же, если захочет, сможет с чьей-либо помощью покинуть Францию.

– Мы ведь оба из Ниверне, – закончил он свою тираду, – а, как известно, соотечественники должны помогать друг другу.

Он бросил еще один быстрый взгляд на дверь, снял шляпу и низко поклонился ей.

- Мое почтение, citoyenne. Я покидаю вас.

Не дав ей времени для ответа, он резко повернулся и ушел, оставив ее, терзаемую сомнениями, выбирать между страхом смерти и недоверием к своему спасителю.

В тот же вечер в Конвенте Шовиньер произнес смелую и зажигательную речь. Выступая, как он сам заявил, во имя гуманизма, яростно критикуя с высоты трибуны всю тюремно-больничную систему - и особенно положение дел, которое открылось ему во время недавней инспекции в Аршевеше, - он не пощадил никого из лиц, несущих ответственность за ее функционирование, включая самого министра юстиции Камиля Демулена[12 - Демулен Камиль (1760-1794) - политический деятель Французской революции; осенью 1793 г. выступил против усиления революционного террора, был обвинен в измене и казнен 5 апреля 1794 г.].

Депутат от Нижней Луары[13 - Нижняя Луара включает в себя современные департаменты Атлантическая Луара, Мен и Луара, Эндр и Луара.] попытался было остановить его.

- Месье президент, - со своего места выкрикнул он, - доколе этому человеку будет позволено защищать привилегии аристократии?

Его язвительная насмешка была встречена одобрительными хлопками, но Шовиньер поспешил затоптать эти опасные угольки неудовольствия.

- Аристократии? - подобно раскату грома, прогремел его голос над головами депутатов.

- Аристократии? - повторил он, привлекая всеобщее внимание к себе, и в воцарившейся тишине его иронично-повелевающий взгляд обежал ряды депутатов и остановился на подавшем голос смельчаке с берегов Луары. Шовиньер хорошо знал цену паузам и умел выдерживать их.

– Граждане депутаты, – заговорил он, наконец, – в свободной стране правосудие должно быть слепо, неумолимо и непредубежденно; отрицание этих качеств равносильно отрицанию самого правосудия. Не случайно древние изображали богиню правосудия с завязанными глазами, поскольку перед ней нет ни плебеев, ни аристократов, а есть одни обвиняемые. Но чтобы в наш век Разума правосудие не ошиблось, вынося приговор, обвиняемые должны считаться невиновными до тех пор, пока под давлением улик им не будет определена мера наказания, соответствующая их преступлению.

Зал буквально взорвался аплодисментами. Зная силу слов, Шовиньер умел подкреплять их театральной позой. Высокий и совершенно прямой – и от этого казавшийся еще более высоким, – с откинутой чуть назад головой, увенчанной шляпой с перьями, он – само воплощение патриота, бескорыстно исполнившего свой долг, – с безмятежным спокойствием стоял, положив руку на край трибуны, ничем не выказывая своего торжества и не замечая, казалось, одобрительной улыбки депутата от Арраса[14 - Аррас – город на севере Франции, административный центр департамента Па-де-Кале.], знаменитого Максимилиана Робеспьера[15 - Робеспьер Максимилиан (1758–1794) – один из вождей Великой французской революции, глава правительства якобинской диктатуры; казнен после термидорианского переворота 1794 г.], который даже снял одну из двух пар очков, сидевших на его слегка вздернутом носу, чтобы лучше видеть пламенного трибуна.

После этого успех выступления Шовиньера не вызывал сомнений, и его предложение в качестве первого шага реформы немедленно удалить из Аршевеше всех душевнобольных было принято единодушно.

Спускаясь вниз по ступенькам с трибуны, Шовиньер с циничным удивлением отметил про себя, что зелено-голубые глаза мадемуазель де Монсорбье сумели повлиять на внутреннюю политику Франции. Впрочем, тут же подумал он, это далеко не первый подобный случай в истории: еще во времена Гомера несовершенство формы носа Елены Прекрасной обернулось Троянской войной.

На другой день, ближе к вечеру, к дому умалишенных на улице дю Бак подкатила закрытая карета. Из нее с чемоданом в руке вышел Шовиньер и направился напрямиком в кабинет к Дюми, главному врачу этого заведения.

- Среди психически нездоровых заключенных, переведенных сегодня утром к вам, находится гражданка Монсорбье, ci-devant[16 - Ci-devant (фр.) - из бывших.],
- не трата лишних слов, депутат перешел прямо к делу.

- О да! - пухлое лицо пожилого доктора оживилось. - Ее случай...

- Дело не в ее случае. Она умерла.

- Как умерла? - ошарашенно воскликнул Дюми.

- А почему тогда вы посылали за мной?

- Посылал за?.. Но я никого не посылал за вами.

- У вас начинает слабеть память, Дюми. Нам обоим повезло, что этого нельзя сказать обо мне. - В его насмешливую интонацию неожиданно вкрались жесткие и слегка угрожающие нотки. - Вы попросили меня приехать, чтобы я опознал умершую и, как полномочный представитель правительства, скрепил своей подписью выданное и подписанное вами свидетельство о ее смерти. Мою же подпись заверит мой секретарь, который, я надеюсь, скоро появится. А теперь прошу вас проводить меня к телу усопшей.

Дюми строго и пристально посмотрел на своего посетителя. Шовиньер не случайно предложил переместить умалишенных из Аршевеше именно сюда, на улицу дю Бак: в его распоряжении имелись сведения, разглашение которых грозило доктору гильотиной. В то же время благодаря Шовиньеру в заведении Дюми увеличивалось количество пациентов, что обещало доктору солидные личные доходы. Поэтому он не сомневался, что Дюми предпочтет рискнуть головой, чем потерять ее, и выполнит все от него требующееся.

Дюми тоже знал это. Он понимающе улыбнулся и пожал плечами в знак согласия.

- Ответственность... - чуть робко начал он.

- Ляжет на меня, поскольку я заверяю свидетельство. Держите язык за зубами и можете ни о чем не беспокоиться. Когда же о ваших новых подопечных вспомнят - а это произойдет не ранее чем через месяц, - вы предъявите ваше свидетельство, не сомневаюсь, что дело этим и закончится, поскольку провести тщательное расследование обстоятельств смерти мадемуазель де Монсорбье за давностью события будет крайне затруднительно.

Дюми поклонился в знак согласия и повел Шовиньера вверх. Остановившись перед дверью одной из палат, он отпер ее и хотел было войти внутрь, но депутат остановил доктора.

- Подождите снаружи, а еще лучше - у себя внизу. Тогда вы с чистой совестью сможете поклясться, что больше не видели вашего пациента в живых.

- Но я должен увидеть ее. Я...

- Вы ошибаетесь. Это совершенно необязательно. Уходите. Не тратьте попусту мое время.

Дюми ничего не оставалось, как удалиться, а Шовиньер, держа в руке чемодан, шагнул через порог.

Услышав за дверью голоса, мадемуазель де Монсорбье догадалась, что за этим последует, и встала, приготовившись встречать посетителей. На этот раз он почтительно поклонился ей и, поступившись своими республиканскими принципами, даже снял перед ней шляпу. Он поставил свой чемодан на стол, стоявший посреди комнаты, и обратился к ней с полувопросом-полуутверждением:

- Вы приняли решение, citoyenne?

Он не сомневался, что любой человек ее возраста может прийти по зрелом размышлении к одному-единственному выводу: очень тяжело добровольно умереть в двадцать лет.

– Да, месье, – со сдержанным достоинством ответила она.

– Citoyenne, во Франции осталось весьма мало «месье», – резко поправил он ее, – да и тех гильотинируют с такой скоростью, что скоро от них очистится вся страна. Если вы собираетесь принять мое предложение и хотите сохранить жизнь, citoyenne, то я попрошу вас пользоваться хотя бы наиболее употребительными выражениями революционного лексикона.

Мадемуазель де Монсорбье подумала, что, пожалуй, педантичность его суждений может свидетельствовать об ироничном складе его ума. Однако она отнюдь не была уверена в том, что это делается сознательно, а не является следствием самодовольной ограниченности, присущей многим из его сподвижников. Она пристальнее взгляделась в него, пытаясь угадать ответ на свой невысказанный вопрос и он, словно прочитав ее мысли, мягко улыбнулся.

– Значит, вы выбрали жизнь, – сказал он. – Что ж, весьма мудро с вашей стороны.

– Я этого не говорила, – отозвалась она, слегка испуганная его пронизательностью.

– Неужели? Впрочем, я частенько забегаю вперед, – примирительно произнес он. – Ваше спокойствие, доброжелательная манера, с которой вы встретили меня, показались мне красноречивее всяких слов. Я пришел бы в отчаянье, если бы узнал, что ошибся.

– Мес... гражданин, я надеюсь, вы великодушно простите меня. Я... я не знаю, какими словами выразить свою признательность за вашу... вашу доброту и заботу.

– Вы еще успеете подумать над ними, но сейчас это пустая трата времени. – Он жестом пригласил ее приблизиться к столу и раскрыл чемодан. – Вот здесь, citoyenne

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Консьержери – одна из парижских тюрем, в которой во время Великой французской революции содержались аристократы и враги нового общественного порядка.

2

Антуан Кантен Фукье-Тенвиль (1746–1795) – общественный обвинитель Революционного трибунала, отличавшейся особой жестокостью; гильотинирован после термидорианского переворота 1794 г.

3

Дворец правосудия – общепринятое во Франции название здания суда; здесь речь идет о парижском Дворце правосудия, историко-художественном архитектурном ансамбле на острове Сите.

4

Fournaise (фр.) – пекло.

5

Конвент или Национальный Конвент – высшее законодательное учреждение революционной Франции (сентябрь 1792 г. – октябрь 1795 г.).

6

Санкюлоты – наиболее активные революционные элементы городской бедноты.

7

Citoyenne (фр.) – гражданка.

8

Эпикурец – зд. человек, видящий цель и смысл жизни в наслаждениях.

9

Невер – город на востоке Франции, на реке Луаре, центр департамента Ньевр, находится на территории бывшей провинции Ниверне.

10

Капет – речь идет о Людовике XVI, которого после низложения называли «гражданином Капетом». Свергнутая Великой французской революцией династия Бурбонов, является побочной ветвью династии Капетингов (987–1328).

11

Фишю – косынка, шейный платок.

12

Демулен Камиль (1760–1794) – политический деятель Французской революции; осенью 1793 г. выступил против усиления революционного террора, был обвинен в измене и казнен 5 апреля 1794 г.

13

Нижняя Луара включает в себя современные департаменты Атлантическая Луара, Мен и Луара, Эндр и Луара.

14

Аррас – город на севере Франции, административный центр департамента Падде-Кале.

15

Робеспьер Максимилиан (1758–1794) – один из вождей Великой французской революции, глава правительства якобинской диктатуры; казнен после термидорианского переворота 1794 г.

16

Ci-devant (фр.) – из бывших.

Купить: <https://tellnovel.com/rafael-sabatini/zhenit-ba-korbalya>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)